

Источник: Аннинский Л. Александр Яшин: «Не отрекаюсь...» / Л. Аннинский // Литературная учеба. – 2005. – № 3. – С. 141-152.

Александр Яшин: «Не отрекаюсь...»

На смертном одре, после третьей операции, уже всё поняв, из последних сил удерживая на скулах всегдашнюю «яшинскую» улыбку, — он повторял: «Не дам-ся! Не дамся!» — и молил судьбу: еще бы годик... до весны дотянуть... там выкарабкаюсь... ничего не успел, не договорил, не дописал, только понял, что хочется сказать, а тут и край: больница на Каширке... в пятьдесят пять лет...

Пятьдесят пять лет. Срок немалый. Особенно если учесть, что перед нами поэт, истерзавший душу в перипетиях и своей судьбы, и судьбы страны в межвоенную передышку.

И все-таки — горькое сознание: не успел! Не сказал!

Это Яшин-то с его десятками изданий! Никогда не попадавший в запрет! С головокружительным взлетом — из деревенской глуши по прямой вверх — к первым публикациям в пятнадцать лет, к первой книжке в двадцать один год, и с этой же книжкой — к делегатскому мандату на Первый съезд писателей... Со Сталинской премией в двадцать семь. Если искать в поколении «детей Октября» фигуру, в судьбе которой траектория «от нуля» к зениту особенно чиста, так это Яшин.

Александр Попов. Год рождения — последний перед империалистической войной, когда по всем показателям Российская империя достигла, образно выражаясь, Верхней Мертвой Точки — перед началом падения, поражения и катастрофы.

Место рождения — медвежий угол. «Деревня в лесной глуши». «В низине, в темных дремучих ельниках — ни дать, ни взять, заблудилась».

Если есть магический смысл в названиях, то имя деревни: Блудново — наводит на мысль о барском блюде крепостной эпохи, а может, о блужданиях гонимых в пору, когда делили таежное пространство князья люди Новгородского и Московского столов. Сам поэт предпочитал версию скорее романтическую: о том, как охотника закружил в чаще леший и привел к лесной царевне...

Советская власть переадресовала эти места из Северо-Двинской губернии в Вологодскую область, но к цивилизации так и не приблизила. На станции Шарья, не доезжая до Кирова двухсот с чем-то километров, — пересечь на местную ветку и «укачливой поползухой» трястись до уездного, а ныне районного Ни-

кольска, а оттуда еще двадцать с чем-то километров подсакивать на машине «полями и ельниками» — этот путь описан гостем Яшина Федором Абрамовым, а особый путь от Блуднова до индивидуального дома Яшина на Бобришном Угоре описан любимым учеником его Василием Беловым: это уж чистая ходьба по буеракам.

Когда блудовцы узнали, что Яшин умер и завещал похоронить себя на Бобришном Угоре, то за одну ночь соорудили мостик... стало быть, и в 1968-м, то есть на пятьдесят первом году Советской власти, все еще жили бездорожно.

А уж в предреволюционное время — полная глушь. И — привычные для русского поэта родословные обстоятельства: мать — неграмотная, бабушка — сказительница, дед — бурлак, отец — солдат...

Уход отца на войну в 1914 году окрашивается в последующем воображении поэта в тона героические: «кузнец и охотник сказал соседям: либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Выпало — второе. На самом деле сын отца вообще не запомнил — по малолетству. Вырос в семье отчима, с которым не ладил, и понятно, почему: мать во втором браке родила еще пятерых, их надо было поднимать, крестьянки надсаживаясь, на что отчим и рассчитывал, когда растил пасынка...

А пасынок рассчитывал — писать стихи.

Мета времени. В поколении, воспитывавшемся уже при Советской власти, существенны психологические константы: зависть к старшим, успевшим расправиться с врагами в войну Гражданскую, и ожидание новой войны, тоже гражданской, революционной, земшарной, «последней» (они не знали, что война навалится — Отецественная, а уж последняя ли...).

И еще черта поколения, неведомая в прошлые эпохи: повальная одержимость стихописанием. Это они составили армию ударников, осадивших литературу на рубеже 20-х—30-х годов. Графоманы и профессионалы пера чувствуют зов времени, взмывшего до запредельной мечты. У некоторых (например, у Павла Васильева) преданность стиху доходит до самоубийственной мании. Александр Яковлевич Попов (взвзавший себе — в память об отце — псевдоним «Яшин», от которого не отступился до последних, предсмертных строк), кажется, того же склада. В школе его кличут «Рыжий Пушкин». На чердаке избы — залежи исчерканных черновиков. Поэзия зовет, он рвется. «Учиться, учиться, учиться».

Мать вторит отчиму: «Я неученая прожила, и ты проживешь». Не покорился сын. По яшинским воспоминаниям, просто удрал из деревни. По другим свидетельствам, его отпустил сельский сход. В 1928 году.

Детприемник в Никольске. Педтехникум. Бригадный метод обучения. Подсобное хозяйство. Азы журналистики. Командировки на село — агитировать за колхозы. Живгазеты. Балалаечные посиделки. Частушечный вихрь...

Бога нет, царя не надо,
Никого не признаем.
Провались земля и небо —
Мы на кочке проживем!

Насчет кочки — лукавство. Земшар им светит, не меньше. Дает революцию!

После педтехникума в Никольске — пединститут в Вологде. Литфак. В промежутке — преподавание в сельской школе.

Это важный момент. Самоаттестация Бориса Корнилова: «Все мы... дети сельских учителей», — аксиома первого советского поколения, рванувшегося от земли к звездам. Яшин не избежал причастия: сам побывал сельским учителем.

Хотя сознавал (и все вокруг чувствовали), что его путь — не педагогика, а литература. При непорываемой связи с той почвой, которая его как поэта породила.

Первая манифестация этой связи не лишена своеобразности. На первый гонорар («что-то около тридцати рублей: из "Пионерской правды" прислали»; по другому свидетельству — «три рубля из "Ленинской смены"») юный автор покупает конфет и папирос и едет в родное Блудново. «Угощай!» Девки принимают угощение как само собой разумеющееся, а парни даже и не интересуются, откуда папиросы: расхватывают и начинают смолить.

Тут появляется матушка с розгой в руке:

— Говори, где деньги взял! Да ты мне зубы не заговаривай! Правду скажешь — ничего не будет: прощу!

Так ли точно все было, или присочинил Яшин что-то к эпизоду, важен общий тон. И дальний смысл¹.

Матушка дожила до глубокой старости, пережила сына. Евгений Евтушенко увидел ее на его могиле: *Мать Яшина у памятника Яшину сидела в белом крапчатом платке, немножечко речами ошарашена, согбенная, с рукою на руке. Ей было далеко уже за восемьдесят, но можно ли сказать, что ей везет? Ей книжки сына из Москвы завозятся, но сына ей никто не привезет....*

Усекла, наконец, правду о том, кем стал ее сын.

Теперь мы в начале его пути.

Путь начинается с того, что в техникуме Яшина отказываются принять в комсомол. Из-за любви к Есенину. Тут все понятно: и про комсомол, и про Есенина. Менее понятно другое имя, выплывающее из ранних яшинских предпочтений: Джек Алтаузен. Тот самый Джек Алтаузен, который призывал задрать Расее подол (за каковые и подобные им скабрзности публично бит Павлом Васильевым).

Впрочем, вот более полный яшинский «синодик»: Сурков, Прокофьев, Сельвинский. Общее поэтическое основание не прощупывается, но порознь все объяснимо.

Из дневника (на писательском съезде, 1934 год):

«В столовой поговорил с Сурковым. Он встретил мою фамилию с улыбкой. Сказал, что ожидал встретить меня не таким молодым».

«Познакомился с Прокофьевым... Отдал свою книжку с надписью: «Мастеру от подмастерья (хотя я не уверен, что могу называться даже подмастерьем). Возьмите меня в свои руки».

Сурков — общепризнанный молодой вожак, герой съезда, схлестнувшийся с самим Бухариным. Прокофьев — помимо идейной близости — еще и онежский баешник, певун Севера. Рядом с ним вологодско-архангельские фибры трепещут в яшинской душе (после Вологды Яшин обосновался в Архангельске, там избран на съезд, там и издал первую свою книгу «Песни Севера») — песни эти звучат в унисон прокофьевским.

Однако Сельвинский — это ж совсем другой край! Правда, Яшин вскоре перебирается в Москву, где издает свою следующую книжку — «Северянку», а поступив в Литературный институт, записывается в семинар — к Сельвинскому!

Север скрещивается с Югом?!

А ведь возникает переписка, начинается дружба, и длится до самой смерти.

¹К вопросу о подарках для народа. Когда Яшина хоронили, его дочь прилетела в Никольск с мешком игрушек — «ребятишкам от поэта». «Мешка сразу не стало, в один миг все растащили — торжественного вручения не состоялось». (Наталья Яшина. Воспоминание об отце. Архангельск. 1977, С. 49).

Не так ли читаем любимых поэтов: находим все, что найти хотим. Что находит Яшин в Сельвинском? Плечи грузчика, грудь бойца... Стих, лопающийся от избытка силы. Чем-то, стало быть, полезен певцу Севера певец Сиваша с его хахатом-клекотом. С его пометами: сопровождать чтение присвистом, топотом... Яшин режиссирует по-своему: читать, окая! Акцентировать «в» как «у». Жуткую картоуку одну не жеуать. Ты проедёшь волок, ещо волок да ещо волок — буд-дет город Вологда. Где живет Овдотья Олексеевна...

Северный окрас не мешает стандартной идейности. Пахнет порохом, бором, кровью. Наши деды добивали врага... били белых иродов... брали города... Молодые наследники готовятся: впереди столько работы, столько побед...

Надо отдать должное чутью поэта: прямые лозунги он сдвигает в особый песенный раздел, там боевые парни, партии сыны, каждый брат — ударник молодой страны... В разделе чисто поэтическом все вспушено на особый, северный лад: если тов. Сталин говорит, что мы ни пяди своей земли не отдадим никому, то Яшин варьирует: *мы даже горсти снега врагу не уступим.*

Северное сиянье, северное пение, северный говорок. Юмор соответствующий. Московский профессор интересуется сарафанами и бусами. «Интересный, говорит, пережиток». А ему Елена прямо и сердито: «Перестаньте, гражданин, гордиться-то! В старопрежнее время и на свадьбе мне бы в таком наряде не гулять бы.»

В пинке старорежимному времени вроде бы ничего особенного, если бы не одно обстоятельство: в стихе описана вологодская свадьба.

Однако лучшие стихи в книге — не эти. Лучшее — «Письма к Елене» (видимо, той самой, которой и посвящена эта вторая книга). Елена Первенцева — любовь вологодской поры. Помогла составить первую книгу. «Расстались 17 декабря 1934 года... Долго плакали...» Вернулась. *Сесть за стол да развести чернила и писать, и слезы лить о том, как она дышала, как любила...*

Тут уже не Сельвинский, не Прокофьев и уж, разумеется, не Сурков, тут Пастернак. Но важно даже не то, кто в мастерах-наставниках. Важно, на чем душа раскрывается. Что-то смоделировано в этой первой любви. Фатум отречения, искус потери? *Измывалась и боготворила. Плакала, но покидала дом...*

Еще немного — и дом покидает он сам. В первые дни войны — два заявления: в действующую армию и в партию. Получая 12 июля 1941 года партийный билет, уже имеет на руках предписание — на Ленинградский фронт.

Точнее: в распоряжение Политуправления Балтфлота. Это не совсем то, что достается «мальчикам Державы» следующего поколения: те идут в окопы прямо со школьной скамьи, именно им суждено кровью вписать солдатскую страницу в русскую лирику. Те, что постарше, да если успели опереться как литераторы, — уже попадают в политсостав.

Яшин был готов воевать рядовым; поначалу это ему и досталось: бой морской пехоты под деревней Ямсковицы 14 августа 1941 года. Самое яркое воспоминание военных лет. Да еще блокадная ленинградская пайка. «Вывезли полуживого» — было, что вспомнить, когда десять лет спустя познакомился и сдружился с Ольгой Берггольц.

И все-таки война для Яшина — это работа в газетах. «Боевой залп», «В атаку!» «За Родину!», «Красный флот», «Сталинское знамя», «На страже»...

В 1944 году демобилизован по состоянию здоровья.

Подает рапорт, просит оставить в рядах — с «нагрузкой поэта», ибо и впредь намерен писать для армии и флота. Докладывает, что с начала войны выпустил пять книжек стихов...

Пять книжек! Тем удивительнее резкая черта, которой Яшин сразу отчерки-

вает после демобилизации военное время. Фронтовые стихи собраны наследниками и изданы почти полвека спустя (и четверть века спустя после смерти Яшина) вместе с тремя поэмами и фронтовыми дневниками получила летопись войны (Балтика 1941—42, Сталинград 1942—43, Черное море 1943—44). И все-таки сам он, похоже, так и не почувствовал себя фронтовым поэтом, в отличие от Твардовского или Симонова. Замечено о Яшине в критике: «война вошла в жизнь и в поэзию временным бедствием», «в последующие годы он почти не обращался к военной теме»¹.

Чем это объяснить?

Во-первых, война оказалась не такой, как ждали. «Все шло не так, как представлялось». Представлялось: *Всем миром — сильны, дружны, всем миром — в огне и в дым... Из этой последней войны врагу не уйти живым*. Дело не только в том, что враг оказался у стен Ленинграда, на Волге и на Черном море, но шепнуть бы тогда поэту молодого советского поколения, «последняя» ли это война...

Во-вторых, он войну видит — сквозь мирную счастливую жизнь, которая на время прервалась: *сквозь разрывы — полюшко родное, солдаты — все земляницы, беда — что рожь в свой срок не зацвела, мечта — чтоб не разучиться траву косить и чтоб возобновились свадьбы и пиры*.

Вот война отгремит как землетрясение, и тогда...

*Пройдет мой народ через кровь и слезы,
Не опустив золотой головы,
Сожженные выпрямятся березы,
Медвяные росы блеснут с травы,
Земля благодатным соком нальется,
Цветы расправят свои лепестки,
Прозрачнее станет вода в колодцах
И чище реки и родники.
От ран, от развалин, от скверны вражьей
В полях и в садах — не будет следа.
Станицы, забытые дымом и сажей,
Аулы и села и города
Из пепла подымутся после войны,
Сияньем новым озарены.*

Это сиянье вполне согласуется со стилистикой позднесталинской эпохи и шире — с общесоветской готовностью индивида *войти хоть каплей в громаду потока, песчинкой, снежинкой в вихри с востока, лучом в сиянье, искрою в пламя, строкою в песню, узором в знамя*. Снежинка — блудновская, вологодско-архангельская, знамя — общесоветское.

*Европа и Азия в силе и славе
Соединились в одной державе.
Держава Советов!*

*На свете нету
Другой земли такой великой,
Другой земли такой многоликой.
Не знаю лугов заливных цветистей,
Полей необъятней, садов плодородней,*

¹Ал. Михайлов. Александр Яшин. М., 1975, с. 29.

*Плотин величайей, гудков голосистой,
Народа пытливей и благородней...*

И Держава, и Народ остаются в центре раздумий. Вот этапы: 1950 год — поэма «Алена Фомина», Яшин — положительный герой критики, самый молодой лауреат Сталинской премии. 1954-й — целина, Яшин на Алтае ездит по бригадам с чтением стихов, а потом поступает на курсы трактористов в школу механизации №10, получает свидетельство №25 и отчитывается перед собой (в дневнике), что сам завел НАТИ АСТЗ и культивировал круг около 5,5 км, т. е. обработал 13 гектаров. Если учесть, что перед нами московская литературная знаменитость, житель дома (в Лаврушинском?) и дачи (в Перedelкине?), а я бы учел другое: что перед нами человек, за десять лет до того комиссованный в инвалидность с диагнозом «бронхиальная астма», — то подобные поступки могут показаться экстравагантными... так надо же знать характер.

Мемуаристы оставили коллекцию портретов золотоволосого юнца, но, на наше счастье, среди них оказался такой проницательный художник, как Федор Абрамов — его зарисовка куда интереснее. Сделана она через десять лет после алтайского свидетельства, в первой половине 60-х годов:

«Меня немало удивил облик Яшина, который показался мне не очень деревенским, да пожалуй, не очень и русским. Большой, горделиво посаженный орлиный нос (у нас такого по всей Пинеге не сыщешь), тонкие язвительные губы под рыжими, хорошо ухоженными усами и очень цепкий, пронзительный, немного диковатый глаз лесного человека, но с усталым, невеселым прижмуром...»

Этот ли человек написал «Алену Фомину»?

Самую лавроносную свою поэму он переделывал раз десять, все надеялся спасти ее в менявшейся ситуации, убирал «наносное», но в конце концов отступился, не стал переиздавать. Меж тем в этой громоздкой, плохо слаженной вещи («повесть в стихах»!) теперь кажется наносным едва ли не все — именно по причине неслаженности, несведенности. Комментаторы объясняли: изначальная задумка, история возвращения в родной колхоз покалеченного фронтовика, оказалась застопорена в связи с появлением в ту же пору и на ту же тему поэмы Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом», после чего подперта была новой историей: про то, как «баба» в отсутствие мужиков взяла в военные годы в колхозе власть. Эта новая история появилась в результате поездки Яшина в качестве корреспондента «Правды» на Алтай в 1946 году. При этом алтайская зажиточность (*ручьи неоскверненные, в рябинах птичий гай, дома неразоренные, незатемненный край*), приписанная Яшиным нищей северной земле, обернулась фальшью.

Все это так, но дело не только в «географическом подлоге». Дело в том, что нагромождение сцен не собрано единой мыслью, оно искусственно подпирается не только буйными спорами о том, кто теперь возьмет власть в колхозе: мужики или бабы, но и фантастическими по своей глупости нападками дураков на власть вообще, от каковых, как от «шелудивых иностранцев», положительным героям приходится защищаться, ссылаясь на то, что лучше погибать на войне, чем иметь дело с клеветниками...

В качестве бога из машины, разрешающего все эти неразрешимости, является секретарь райкома партии.

Александр Фадеев не зря торопил Яшина с написанием поэмы (и не зря она Фадееву посвящена): в финале сказано: *не пора ль призвать к порядку всех писателей страны?* Яшин попадает здесь в створ той модели социалистического реализма, с помощью которой партия собирается сверху донизу (от всенародных

торжеств до районных буден) подымать лежащую в послевоенных руинах жизнь.

В эту работу Яшин включается самоотверженно. Он рисует новые и новые картины, с алтайских и вологодских полей перелетает на великие стройки коммунизма, перелопачивая в стихах *груды вынудтой земли, бревна, балки, доски, стружки, стрелы кранов вдалеке, Жигули в цветном просторе, пароходы на реке там, где скоро будет море...*

Поэтически лучшее в этом круговороте — как и двадцать лет назад — пронзительная боль влюбчивого сердца. На роду написано: не умеет любить спокойно и ровно, гирей на сердце любовь, фатальна ее безрассудная сила.

*Я тебя не хочу встречать.
Я тебя не хочу любить.
Легче воду всю жизнь качать,
На дороге камни дробить.*

*Лучше жить в глуши, в шалаше:
Там хоть знаешь наверняка,
Почему тяжело на душе,
Отчего находит тоска...*

Тоска, смутное предчувствие беды, страх фальши можно уловить и в «Алене Фоминой». *Охоты нет и смысла нет... Какой вдали маячит свет?... Предчувствие какой беды, как ревность, душу жжет?* В конкретных обстоятельствах это может быть и ревность, и даже отсутствие охоты (я имею ввиду охоту на зверя, радостью от коей Яшин бредит с детства), но смутное, необъяснимое предчувствие фальши и беды тенью проходит сквозь все сполохи яшинской лирики первого послевоенного десятилетия.

В 1956 году он пишет потрясающее стихотворение «Орел» — о том, как пораженная охотником птица взлетает *за облака*, чтобы упасть *среди дальних скал, чтоб враг не видел, не торжествовал.*

Что это? Пророческое предчувствие — за несколько десятков лет — гибели той державы, которой присягнул и был верен всю жизнь? Предчувствие личной драмы (орел — любимая птица, и во внешности Яшина что-то орлиное)? Гибельное опустошение души от догадки о ложности всего, во что верил и что писал?

По природе дара и по типу душевного склада Яшин ни от чего не хочет отречься. Ни от державы, в чей герб вплетены колосья, ни от партии, в которую вступил, когда пошел на фронт, ни от тех «райкомщиков», которые держали на своем хребте советскую повседневность.

Чтоб враг не видел... По советской привычке он ищет врага. А что, если разглядеть врага в «райкомщиках»? Какая сила может заставить его выдернуть из реальности этот стержень?

И тут Яшина-поэта подставляет под удар Яшин-прозаик.

Собственно, прозаик зреет в нем давно: слишком активная натура, слишком много впечатлений, они перехлестывают через стих...

Сюжет, с которым Яшин дебютирует как прозаик, посвящен колхозным будням; на трезвый взгляд, этот сюжет вполне вписывается в тот канон соцреализма, согласно которому труженики села борются с постоянными сложностями и героически решают проблемы, связанные с непрекращающейся сменой сезонов. У Яшина лучшие намерения: призвать героев к работе инициативной и творческой, не быть бездумными исполнителями.

Но на дворе 1956 год.

Рассказ появляется в альманахе «Литературная Москва». Альманах попадает в идеологическую облаву.

Называется рассказ замечательно емко и кратко: «Рычаги» — прекрасное клеймо для обозначения клеветнической вылазки автора против советских людей, изображенных бездумными проводниками спускаемых сверху решений.

Вокруг идет охота на ведьм. Яшин поставлен в шеренгу «ревизионистов» рядом с Дудинцевым, Эренбургом, Граниным (Пастернак ждет своей очереди).

Никогда никаким «ревизионистом» Яшин, разумеется, не был и в ходе экзекуции таковым не стал. Хотя и каяться отказался. Но, попав в облаву, должен был почувствовать, сколь непрочен тот изначальный каркас, тот фундамент, та почва, на которой он выстроил свой дом.

Он заново вглядывается в своих прежних героев. И, в частности, в тех райкомщиков, которые спасали, как бог из машины, хозяйство Алены Фоминой. Что же теперь? Вот они вошли и сели в три ряда в заранее намеченном порядке. Стол под сукном. Трибуна. И вода. По краю сцены — зелень, как на грядке. «Нашенские парни», садясь в президиум, становятся смешны.

Это, надо думать, пленум. Или праздник. А вот и районные будни: секретари сменяются один за другим. Тот беззастенчивый авральщик, тот непрактичный книжник, а один и вовсе забудыга... Опять смешно. У Яшина хватает юмора примерить этот хомут и на себя: то-то дров бы наломал — «все ямбы или все хореи, верно б, вышибло из головы».

Что верно, то верно: ямбы и хореи — последнее спасение, единственный смысл жизни. Непрерывно рассказывать о том, что с тобой происходит. «Еще вчера в душе был бог, я жить и верить мог. Теперь ни веры, ни любви: как хочешь, так живи». И живет. *Бренчаниями фальшивыми, писаньями хвастливыми* не разогреть сердец. Разогревает — рассказывая о том, как разогревает. *Ни от своей, ни от чужой вины не отрекаюсь, но долги все те же...*

И все-таки глубинный сдвиг намечается. Сдвиг почвенный — в сторону «малой родины», своей, северной. С плацдарма, незащищенность которого обнаружилась, когда идеологи прошлись по нему с «Рычагами» наперевес, — отходит яшинская муза на запасные позиции, намеченные еще в юные годы.

*Больше не могу!
Надо бежать
В северную тайгу...
Просто чтобы дышать.*

Именно Яшин, как установили впоследствии историки литературы, становится сигнальщиком общего поворота советской прозы к деревенскому ладу. Он благословляет на этот путь лучшего своего ученика — Василия Белова. И ученик отвечает учителю проникновенной исповедью:

«Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора? Я знаю: быть честным — это та роскошь, которую может позволить себе только сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить».

Белов-то опору чувствует — в том же своем Иване Африкановиче, в вековом «Ладе» крестьянского быта. Но наитием душезнатца чует у Яшина отсутствие

опоры! Интуиция поразительная, потому что сам Яшин, кажется, этого не ощущает. Не хочет признать. Душа его парит.

Здесь снег высыхает — не тает, и грязи не знает земля. Орел в облаках летает, крыльями не шевеля. Спускаемся на землю. Всею голова — хлеб! Тот, что уже на столе. «Каравай душистые, блины, и шаньги, и пироги»... «Ешьте на здоровье, добрые люди!» «Угощай!»

И тут Яшин-прозаик опять подставляет Яшина-поэта.

«Вологодскую свадьбу» он пишет в 1962 году — уже не дебютант прозы, как семь лет назад. И публикует ее — Твардовский в патентованном журнале интеллигенции Оттепельной поры — в «Новом мире». Очерк о празднике, полный народного юмора, здорового озорства и любовного северного этнографизма, идет на ура в продвинутой читающей публике.

И тут доносится из родимой глубинки:

— Свадьба — с дегтем!

Вологодские «райкомщики» во главе народных масс негодуют, обвиняя автора в клевете. Идет поток писем в местную, да и в центральную печать. Советская деревня не такая! Лучше бы автор о радиофикации родной деревни позаботился, об электрификации подумал бы, чем упиваться такой свадьбой...

Опять-таки: только с большого бодуна можно усмотреть очернение в яшинском очерке. Да он, кстати, и о радио, и об электричестве в Блуднове писал и в стихах, и в очерках, и в деловых бумагах по начальству. «Выбивал» средства по письмам земляков, взывающих о помощи. И они же, земляки, пошли на него в атаку! Да если бы только «райкомщики», рычаги партийные! Нет, простые мужики повторяют по бумажке на собраниях про свадьбу с дегтем! Те самые работники с льнозавода, которые Яшина на ту свадьбу пригласили, — теперь на его «клевету» обижены.

Он не выдерживает:

— Чертов народ! Ты для него всё, и жизнь готов отдать, а он первый же тебя копытом! Неужели и у других народов так?

Сакраментальный вопрос о других народах Яшина особенно не занимает, хотя он и успел пообщаться с грузинами, югославами и другими собратьями по Союзу и соцлагерю, когда была мировая держава. Ему надо осознать свой народ. Свою опору.

Почва, вроде бы нащупанная, начинает ползти под ногами?

Выстроен дом на Бобришном Угоре. То ли дом-музей, то ли проект надгробия.

Мучает мысль, что все сделанное — ложно, что «день мой вчерашний мусором забило», что жизнь прошла под девизом «ни дня без строчки, без странички», а вот заплачет ли кто-нибудь над этими строчками?

Строчки пронзительные:

*Мне верить надо
В кого-то,
Во что-то,
Чтоб жить без оглядки,
Жить без расчета...*

*Я просто птица
На тонкой ветке,
Хоть тоже в зверинце
И тоже в клетке...*

Орел, паривший в невесомости, оборачивается пичугой. Дом — клеткой. Мир — зверинцем. Охота — фарсом (охота — символ настоящей работы).

Вообще-то Яшин — такой охотник, какой крупнее зайца сроду ничего не приносит. Да и не стремился — ни капли кровожадного азарта. Но вот пишет — охотно: как обкладывали крупного зверя, окружали берлогу... А потом пишет про то, как про это пишет...

«В журнале меня хвалили за правду, за мастерство... Медведя мы не убили, не видели даже его. И что еще характерно: попробуй теперь скажи, что факты недостоверны, — тебя обвинят во лжи».

Эта прелестная юмореска выигрывает еще и оттого, что посвящена одному из признанных арбитров жизненной правды в художественных текстах — критику Феликсу Кузнецову (с его вступительной статьей вышло посмертное Собрание сочинений Яшина). Но глубоко запрятанная тревога улавливается и в этой юмореске. Сомнение в том, что делал всю жизнь. И в том, как жил.

«Да просто жил!» — отвечает Яшин (невзначай цитируя аббата Сийеса, над остроумием которого в XVIII веке смеялась «вся Европа», когда на вопрос: что ты делал в годы Революции? — он ответил: «Я жил»).

Яшин не просто жил. Он непрерывно исповедовался. Он боялся «нарваться с исповедью на врага». Хотя враг был очевиден только в те годы, *когда фашисты в дома к нам стучали железными сапогами*. А что же друзья, други? *А други смотрят просто, какое дело им, крещусь я троепёрстно или крестом иным*. Стало быть, друзья и враги — призраки, меняются местами. И бог с чертом: *И в бога не верится, и с чертом не ладится*.

Все-таки чувствуется закладка поколения. «Были мы молоды и не запасливы: в голоде, в холоде — все-таки счастливы», — оборачивается Яшин на свои ранние николевские годы, когда девушки носили вместо сережек серпы и молоты, а вместо брошек — значки. Первое советское поколение готовилось жить в воздушных замках, хотя рождалось в избах и бараках. И вроде уцелели — в провисе между бойнями: на Гражданскую не успели, Отечественную увидели уже не из окопов, а с командных пунктов — с орлиного полета.

«История делает то, что следует», — с марксистско-гегельянской уверенностью успокаивает душу поэт, «повзрослевший вместе со своим поколением», но на всякий случай поминает и толстовско-каратаевское «терпение»: «все образуются, боль пройдет».

Пройдет ли?

Как и в былые годы, пробьется в стихи боль, неотделимая от любви.

Опять — как в былые годы — готовность к разрыву, азарт: *«только бы простояв не знала душа»*.

И опять — «безрассудная сила», смесь любви с «ночной ухой» (рыбная ловля — такая же всегдашняя услада души и тела, как охота), и еще — магия таинственных шифровок (как в «Анне Карениной» Толстого?):

На маховике коленчатого вала

Выбита мета из трех букв:

В. М. Т.

Об этой мете знают

механики и мотористы

водители всех машин.

Когда поршень доходит

до Верхней Мертвой Точки,

Его движение как бы на миг замирает,

*Взрыв сжатой горючей смеси
Толкает его обратно,
а к ВМТ
стремится другой поршень
под новый взрыв,
как под удар гильотины...
В судьбе каждого человека
Есть своя Верхняя Мертвая Точка...*

Механики и мотористы, а также водители всех машин знают свое, а пытливые читатели — свое: В.М.Т. — инициалы героини этого лирического цикла. Секрет полишинеля? Теперь — да. В ту пору: с конца 50-х до середины 60-х — что-то вроде ребуса — для посвященных.

Но при всех шифрах конкретная история отношений прописана в цикле «Ночная уха» достаточно четко. Это существенно — не потому, что можно реконструировать, как и что там было (это можно, но не нужно), а потому, что позволяет понять — психологически — лирический сюжет. То есть: чем он был для нее. Еще точнее: чем, как он думал, он был для нее.

Эмпирика не очень романтична: соседское знакомство. Кажется, дело происходит то ли в двух кварталах друг от друга, то ли в большом многоквартирном доме, так что для визита достаточно взбежать на нужный этаж.

Они еще «на вы», но сигналы интереса (ее интереса к нему) уловлены мгновенно.

Его ответ: *Как вы подумать только могли, что от семьи бежу? Ваш переулочек — не край земли, я — не игла в стогу... В мире то оттепель, то мороз — трудно тянуть свой воз. Дружбы искал я, не знал, что нес столько напрасных слез.*

Ее слезы напрасны. Ее душа надломлена. Она умирает от рака — болезни надломленных душ.

И тут его сердце наконец разрывается:

*Воскресни!
Возникни!
Сломалась моя судьба.
Померкли, поникли
Все радости без тебя.*

*Пред всем преклоняюсь,
Чем раньше не дорожил.
Воскресни!
Я каюсь,
Что робко любил и жил.*

Робко? Да нет же: это она думала, что он робок. Вернее, это *он* думает, что она так думала.

Далее следует разбор полетов.

Она:

— Неужели ты не видишь, что ты мой бог¹?

¹ «Боженькой» Леля Денисьева называла в сходной ситуации Федора Тютчева. Может быть, отсюда — соблазн: сблизить «Ночную уху» Яшина с «Денисьевским циклом» Тютчева. (См. А. Рулёва. Александр Яшин. М., 1980. С.113—114). Но я думаю, для такого сближения требуется слишком много оговорок и поправок.

Ответ (в стиле нераскаянного атеиста):

— *И что я за бог, если сам ни во что не верю?!*

Она шутит невесело:

— *На день строю.*

Он (грустя об упущенном):

— *Ах, если бы раньше знать, что жизнь так мимолетна.*

Она — всерьез:

— *Прикажи что-нибудь.*

Он — всерьез («всерьез!»):

— *Хорошо, сходи за папиросами.*

Как она все терпела великодушно! Как он великодушно утешал — скорее себя, чем ее:

— *Ведь если б согласие во всем всегда, не знать бы нам счастья, опять беда...*

Верхняя Мертвая Точка?

И тут горячая смесь взрывается от врезавшейся в память фразы: «Не отрекаются, любя». Тут-то его и пробило. И закричал ей на ту сторону бытия:

Не отрекаюсь я —

Будь все по-старому.

Уж лучше маяться,

Как жизнь поставила...

Он промаялся еще три года. Умер почти день в день с нею: она в 1965, он в 1968. Чувя конец, просил: *Подари мне, боже, еще лоскуток шагреновой кожи!... Не хочу уходить! Дай мне, боже, еще пожить... И женщины, женщины взгляд влюбленный, чуть с сумасшедшинкой и отрешенный, самоотверженный, незащищенный...*

Потом набрался мужества и выдохнул:

Так чего же мне желать

Вкупе со всеми?

Надо просто умирать,

Раз пришло время.